

Солдатская смерть

После разрыва контузившей меня бомбы меня не стало. Появился человек в сером ополченческом ватнике с моим лицом и моей винтовкой ФЦ 23567. У него в кармане — мои документы¹, письма моей матери и моей жены. Даже голос у него мой и шрам на щеке — тот же, что у меня. Но это не я, это другой — неизвестный.

Вот он передо мной. И вместе с ним я вспоминаю.

...Я не знаю, сколько раз мы ходили на прорыв. Мы сбились со счета. Уже, наверное, неделю мы в окружении. Немцы сильным ударом прорвались на восток к Москве. Они взяли Вязьму, Калугу, Орел, идут к Туле. Наша армия отступила: мы остались в далеком немецком тылу.

Мы об этом еще не знаем. Не знаем, где немцы, знаем только, что они вокруг, слышим канонаду то справа, то слева, то сзади, то впереди. Ночью на нас летят потоки огненных трассирующих пуль, днем и ночью вокруг нас рвутся летящие неведомо откуда снаряды, и немецкие самолеты бомбят нас каждый час.

Была осень, был октябрь 1941 года, самые трудные дни великого отступления, зенит немецких успехов.

Была осень. Лес был желтый, золотой, лиловый. Для всех, но не для меня. После контузии мой мир стал серым и плоским, я слабо различаю цвета. И я плохо хожу: иду, иду, и земля плывет подо мной: чувство равновесия нарушилось. Но это ничего, я иду.

Трава была буро-желтая, высохшая. На вершинах пригорков темнела зелень еловых перелесков, четкая, словно вырезанная из черной бумаги, лужи затягивались льдом. По утрам бархатистая от инея, седая земля чернела под частыми шагами солдатских сапог. Светило холодное осеннее солнце.

Люди, лошади, автомобили, пушки двигались, мчались по дорогам. С каждым часом все скорее и напряженней: каждая минута уменьшала шансы вырваться из окружения. Горели деревни, горели стога соломы и сена, и тонкий запах гари стелился над безлюдными полями.

Никто еще не видел немцев, но они здесь, они придвигаются все ближе. Падают товарищи, сраженные осколками и пулями, падают ослабевшие. Мы подбираем раненых, укладываем на подводы, перестраиваемся и снова и снова идем на прорыв.

Мы не знаем, где немцы, но знаем: за нами Москва и между нами и Москвой тоже немцы, и нам надо пробиться или умереть. И мы идем пробиваться и умираем, и нас отбрасывают назад: мы воюем третий месяц², а немцы третий год, они прошли всю Европу, а мы, ополченцы, только дорогу от Москвы...

Вчера мы шли на юг к Калуге. Там перед нами прорвалась и с боем вышла большая кадровая часть, кажется сибиряки. Сегодня мы движемся на восток к Семлёву и Вязьме, там тоже пробились наружу вчера, может быть, и нам посчастливится.

Последние дни я был ездовым. У меня была подвода и пара серых лошадей, я двигался с ними в обозе нашего ополченческого полка. В непрерывном движении потерялось чувство времени. День, ночь, утро смешиваются в бесконечную серую мелькающую полосу. Кажется, уже долгие годы трясусь я на подводе и подгоняю лошадей прутом. И, кажется, только вчера расстался с редакцией ополченческой газеты, где сочинял с товарищами «Азбуку ополченца».

Где это сегодня? Сегодня уже никому не нужна ни наша азбука, ни редакция, сегодня надо пробиться или умереть. Один час подводы идут с артиллерией, другой следуют за пехотной частью, потом стараются нагнать автомобильный отряд и снова двигаются дальше с пехотой.

Беспрерывный калейдоскоп людей, пушек, обозов становится реже, мелькает меньше, но делается все напряженнее. Какие-то части прорываются, мы остаемся. Неужели мы самые

последние? Нет, мы спешим, мы напрягаем все силы, чтобы двигаться как можно скорее, ведь надежда вырваться отсюда все уменьшается.

В рядах идущих вдруг появляются родные лица товарищей, с которыми были в походе, и исчезают так же внезапно. Пробегают с автоматом московский приятель, с которым записывались в ополчение. Высовывается из телеги и опять скрывается голова знакомого художника: он ранен, он не может идти, ему еще хуже, чем мне. Комиссар артиллерийской батареи, о котором я писал, ведет на прорыв отряд незнакомых красноармейцев. Они спускаются в овраг, сворачивают куда-то в сторону. Молодые, здоровые, они пробьются. На грузовике с ящиками и гранатами двое друзей-ополченцев, работавших со мной в редакции. Счастливые, они тоже прорвутся, а я со своими лошадьми останусь.

— Но, но, лошади! Скорее, да скорее же...

Я хочу спросить, где Гершензон³, писатель, хороший человек, наш общий друг. После контузии он взял мою винтовку, ушел на очередной прорыв и больше не вернулся. Но спросить не у кого. Моих друзей уже нет, где моим лошадям угнаться за автомобилем!

Опять артиллерийский обстрел. Вздывается земля, становится на дыбы, падают и бьются в постромах лошади. Рассыпаются люди. Колонна тает. Невидимое кольцо немцев приближается...

Последняя попытка прорваться была отчаянной.

Это было ночью в ложбине. С холмов вокруг били немецкие пулеметы. Над деревьями огненными лягушками прыгали немецкие скачущие ракеты.

Нам сказали: вражеские линии тянутся здесь всего на глубину пяти километров, это самое тонкое место в кольце. Всего пять километров — за ним опять наши, родина, жизнь... Но эти пять километров покрыты лесом. Поляны перекопаны рвами, там стоят минометы. А на деревьях автоматчики и снайперы-кукушки.

— Роща смерти. Не пройти... — говорит полный бравый старшина из вещевого склада, ехавший на моей подводе.

Это говорил страх. Мы еще не знали немцев, не умели их бить, они виднелись за каждым деревом.

— Вот именно, пройти. Под Ельней почище было. Дерьмо собачье... — бросает злобно старшине сидевший рядом раненый в голову маленький красноармеец и, схватив свой автомат, бежит к началу колонны, откуда слышатся звонкие слова команды.

Там майор собирает и строит людей на прорыв. Людей набирается не больше роты, но майор громко, чтобы было слышно в лесу, командует полку приказ идти в атаку. И полное надежды разноголосое наше «ура» катится в темноте по лесу, кричат раненые, даже умирающие, кричат все. Эхо повторяет крик, действительно похоже, что в атаку идет целый полк.

Все, кто мог идти и нести оружие, взяли его и ушли вперед с майором, остались только ездовые, и то раненые или контуженные. И старшина тоже пошел. Ему дали карабин.

Подводы остались стоять на опушке леса. На моей лежали ящики с патронами, она стояла четвертой. Нам сказали: когда увидите три красных ракеты, гоните во всю прыть по этой дороге. Убьют — хорошо, а нет, так прорветесь, все равно выхода нет.

Этого можно было не добавлять. О смерти не думали. У каждого в сердце было: война — это я, защита Москвы — это я, мы защищаем Москву, или мы умерли, все равно часом позже или раньше.

И вот мы стоим на опушке в ожидании. Сейчас я гикну на лошадей страшным голосом, они помчатся, пролетят через огонь и вынесут меня на волю. Небо в белых и розовых полосах от прожекторов и ракет, не наших, не трех красных. Их нет. Ползут минуты, тянутся часы...

В лесу стрельба, за лесом бухают орудия, гудит в темноте самолет. Где же наши, где три красных ракеты? Немцы нащупали опушку, пулеметы бьют по ней с трех сторон. Ездовые сошли с подвод, легли в канавы и ямы у дороги.

Частые огненные дорожки изгибаются над лесом и мчатся между деревьями. Пули посвистывают, цокают, ломают ветки, обсыпают нас землей. Лошади стоят у опушки, падают на колени, валятся на бок, тихо стонут раненые. Их нельзя увести с открытого места — сигнал к выступлению может быть каждую минуту.

Но ракет все нет: надо ждать дальше. Приходит ночь, светлеет небо. В рассветной мгле ясно вырисовываются по-



никшие, усталые головы моих серых лошадей. Я им скормил весь свой хлеб ночью, но они давно не пили...

Вот и утро, скоро покажется солнце. Вместе с ночью уходит надежда, стынут сердца. С первыми лучами солнца показываются немецкие самолеты. Они кружат каруселью и, обрываясь, пикируют над лесом.

Карусель завертелась над нами. Свистят и воют бомбы. Грохочут взрывы. Пламя, вырытая земля, дым, пыль. Все кончено, от нашего обоза не осталось ничего, мои серые лошади взлетели на воздух с подводой. Но я жив, я вылезаю из ямы и бреду неведомо куда безоружный, только с вещевым мешком и скаткой через плечо. Вот теперь я погиб, меня можно взять голыми руками.

Откуда-то показывается мой московский товарищ и однополчанин, солидный немолодой человек в роговых очках⁴. Он в лучшем виде, чем я, но тоже без оружия. Он, как и я, ничего не знает. Он комнатный интеллигент, я с ненавистью смотрю на серые перчатки на его руках. Вот из-за этих перчаток и погибаем...

Появляется свежая, будто с парада, авторота. Мы бросаемся к командиру, объясняем кто мы, просим взять нас с собой. Ему не до нас: снова показали немецкие самолеты, снова завертелась карусель и завывли пикировщики.

Мы прижались к земле. Когда поднялись, просить нас взять было уже некуда.

С остатком людей автороты мы идем в лес навстречу немецким автоматчикам. Мы их не видим, но люди, подстреленные ими, падают.

— Немец, немец! — вдруг кричат рядом, и я вижу высокого блондина в командирской форме, зигзагами убежавшего в сторону. Его догнали, через минуту раздался пистолетный выстрел, и я увидел этого человека мертвым.

Он был в парадной форме старшего лейтенанта Красной армии, высокий, красивый мужчина с подведенными бровями. Наши увидели, как он спустился с дерева и бросился к шалашу, где стал надевать шинель рядового бойца, видимо, собираясь незаметно присоединиться к нам. А когда его задержали, он, отдавая честь, щелкнул каблуками на немецкий манер. Это была одна из «кукушек».

Новые и новые налеты бомбардировщиков разбросали нас. Мы с моим московским товарищем очутились в прикритой сухими ветвями яме над ручьем на опушке. Там уже были люди: несколько раненых и двое пожилых мужчин в штатском из рабочих батальонов, копавших окопы.

— Танки, танки! — крикнул один из них. — Немецкие танки.

— Это наши танки, зеленые. Вы же видите. Они идут нам на выручку.

— Нет, немецкие. Они бьют по нашим.

— Наши, наши, они бьют по немцам, — спорили мы, раздвинув ветви над ямой.

У моего товарища не выдержали нервы. Он вскочил и побежал сам не зная куда.

— Куда вы? Это безумие. Подождите, выяснится, что это, тогда пойдем вместе, — пытался я его удержать, но он не стал меня слушать⁵.

А танки подошли и стали обстреливать опушку. Мы вросли в землю. Танки замолкали, меняли позицию и снова долго и упорно простреливали лес.

В одну из пауз между обстрелами в яму боком ввалился сержант. Совсем мальчик, лет девятнадцати, не больше. Он подполз ко мне.

— Товарищ, перевяжи меня, — сказал он белыми губами.

— А что с тобой?

— Я ранен...

— Куда?

— В сердце.

Его шинель была цела. Я осмотрел ее со всех сторон: следов пули не было.

— Как же так? — сказал я. — Шинель цела...

— Ранен вот сюда — в сердце, — показал он на грудь. — Болит...

— Да нет же, не ранен, ты ошибаешься. Тебе показалось.

Я дал сержанту воды из фляги, и он сказал, что его зовут Саша, он комсомолец, был студентом архитектурного института, пошел добровольцем, что у него невеста Женя, что его считали талантливым...

В его белых губах и механических движениях была тоска и смерть. Он видел, что надежды спастись остается все меньше, и видел себя мертвым. Это был уже не мужчина и не солдат. Но чем я был лучше? Я утешал его как мог.

— Ну, что же дальше, товарищ? Скажи что-нибудь. Хоть слово...

— Дурак ты, Саша, молодой дурак. Ты испугался как щенок. Жизнь не кончена. У тебя есть компас: стемнеет, пойдем на восток, будем пробираться к своим. Я контужен, но мы будем помогать друг другу.

— ...У меня была невеста Женя, она думала, что я хороший. У меня было призвание, я собирался строить города. Я был нужен, я защищал Москву. А сейчас ничего нет: жизнь кончена.

— Да, нет же, не кончена, глупый щенок. Честное слово, не кончена. Война тоже не кончена.

Я взял его за руку. Она была ледяная, безжизненная. Тогда я взял и другую. И стал дышать ему на руку. Они отогрелись, и он немного отошел.

— А я и вправду думал, что ранен в сердце, — смущенно улыбнулся он. — Да, мы еще выберемся. Только говори мне что-нибудь, говори.

Я хорошо понимал Сашу. У него на сердце было то, что и у меня, только я не стал бы так говорить: я был старше. Утешая его, я утешался с ним, забывал о контузии, верил, что мы доберемся к своим...

Танки действительно оказались немецкие, хотя и были покрашены в зеленый защитный цвет. Простреляв лес, они

ушли. Вслед за этим мы услышали громкую команду на чужом языке и частые автоматные очереди: вслед за танками шли цепи немецких автоматчиков.

Они выходят на поле и широко шагают, осматриваясь по сторонам и простреливая каждую ложбину и каждый встречный куст. Это рослые краснолицые солдаты в серо-стальных коротких мундирах и мелких, как котелки, касках. Они живые, они идут и стреляют.

Мне кажется, что я вижу их во сне или в кино, больше всего удивляет их реальность: сапоги, возбужденные лица, пуговицы на мундирах, матовый блеск оружия. Я не верю своим глазам: всего пережитого оказалось недостаточно, я еще не могу поверить, что по русской земле эти чужие люди идут как хозяева. Вероятно, многие так не верят смерти, когда уже видят ее в лицо.

Они прошли мимо не увидя нас. Выглянуло скрывшееся было солнце. Я сказал Саше:

— Вот видишь, все может обойтись. Вечером пойдем на восток.

Но за первой цепью автоматчиков показались следующие, более густые и менее торопливые. Они шарили всюду и шли прямо на нас. Бежать некуда — мы попались.

Окопник, пожилой одесский еврей в очках и с бородой, не выдержал напряжения последних минут.

— Что играть в кошки-мышки? — поднялся он и, махнув рукой, пошел навстречу немцам: наша участь была все равно ясна; пистолета, чтобы застрелиться, у него не было.

А остальные прижимались еще ниже к земле и ждали, сами не зная, на что надеяться. Ждали, пока автоматчики не обнаружили нас и не заставили выйти из ямы.

Мы поднялись и пошли под ударами прикладов, плохо понимая, что происходит. Мы одеревенели, нам уже было все безразлично, мы всё равно погибли...

Нас гнали мимо ручья и мимо моста, где была авторота. Около разбитого грузовика лежал мертвый зенитчик. Его руки были стиснуты, будто он до сих пор держит ручки зенитного пулемета. Нас погнали дальше к деревне.

— Политрук? Комиссар? — заглядывали в лица пленных немецкие солдаты, обыскивали нас, шарили по карманам и забирали что кому приглянется.

Какой-то солдат снял с Саши пилотку: вероятно, хочет послать как трофей в Германию. Саша идет дальше с обнаженной головой.

Нас всех согнали в кучу на разрытое картофельное поле. Картошка была выкопана, на земле лежала сухая ботва. Кругом поставили пулеметы на треногах. Пришел маленький толстый офицер и что-то сказал солдатам. Один из них вышел вперед и скомандовал по-русски:

— Становись на колени!

Мы стали. Значит, всех сейчас расстреляют — тем лучше, больше не будем мучиться. Ведь мы всё равно умерли.

Но мы ошиблись, немцы только пересчитали нас и ушли. А мы остались под дулами пулеметов на том же поле.

Высоко в небе показались самолеты. Это наши советские самолеты с красными звездами на крыльях. Теперь они бомбят немецкое расположение, бомбят и нас. Мы не двигаемся с места, пусть бомбят, уже все равно, разбомбят нас или нет. Мы смотрим вверх с тоской и любовью, каждый готов закричать: «Товарищи, мы здесь, помогите, спасите, возьмите с собой!»

Но самолеты улетают, а мы остаемся.

— Вот и все, — склоняет голову сидящий рядом со мной Саша.

День угасает. Какой огромный день — больше целой жизни.

Мы на том же картофельном поле: стоим, сидим, опустив головы, лежим, уткнувшись лицом в разрытую землю, стонем, в забытие просим воды...

Солдаты, не сумевшие умереть за родину, мы уже не солдаты, даже не люди — мы пленные. Да, мы не люди. Недалеко колодец, он хорошо виден, но немцы не пускают за водой даже для раненых. Раненые истекают кровью, местами вся земля красная — что до этого часовым у пулеметов! У нас нет пулеметов. Есть только индивидуальные пакеты, чтобы перевязать друг другу раны. И среди нас есть врачи. Они поднимаются и, не слушая окриков часовых, начинают помогать раненым. Часовые стреляют, но врачи продолжают свое дело. Пусть стреляют, нам терять уже нечего.

Кто-то собрал сухой ботвы и зажег небольшой костер. Люди тянут руки к желтому огню. Часовые стреляют, но на выстрелы не обращают внимания.

— Боже, как я иззяб, — придвигается ближе к костру раненый.

Потом подходит солдат-переводчик и говорит, что раненых можно перенести в лазарет — большой крытый соломой сарай, стоящий неподалеку.

Там нет ни лекарств, ни перевязочных материалов, ни соломы на полу. Только крыша над головой. Это лазарет для пленных. Но врачи уже там. Они снимают с себя рубашки, разрывают на жгуты и бинты, стараются спасти, кого можно. Санитары принесли воды, наконец можно напоить раненых. Сарай уже полон ими.

Остальные там, на поле. Они лежат и смотрят в бездонное звездное небо. Некоторые забылись во сне. Другие стонут и хрипят, умирая: сарай не вместил и половины раненых. Саша, лежащий около меня, прячет под шинель обнаженную голову. Холодно.

Какой длинный день, как целая жизнь...

Наутро умершие остались лежать на поле, а живых согнали на околицу и стали выстраивать в колонну.

Немецкие солдаты и офицеры ходили возле нас, я рассмотрел их близко. Фуражки набекрень, береты, залихватские прически, кольца на пальцах. Ухарство и развязная манерность не вязались с суровой простотой военных людей. Они держались как наглые молодые люди на пикнике или на охоте. На шапках вместо кокарды у них был череп с перекрещенными костями. Это были эсэсовцы из лучших отборных дивизий, брошенных Гитлером на Москву⁶. Как жаль, что мы раньше не знали, какие они: бить эту публику было бы и легче, и приятнее. Они только гримаса войны, игрушка военной удачи. Они совсем не такие страшные, жаль, что мы их переоценивали.

Скучающий высокий офицер в черном берете велит солдату-переводчику вызвать командиров и тут же добавляет — «расстрелять их». Я не уверен, что правильно понял его слова, я плохо помню немецкий. Но переводчик идет и вызывает командиров. Мы с Сашей говорим соседям: «Не отзываются — расстреляют». И предупреждение катится дальше. Некоторые все же выходят из рядов, немцы ведут их в лес, и оттуда слышатся выстрелы.

Мы стоим и ждем. Опять доносятся выстрелы. Ряды пленных дергаются, словно под ударами электрического тока.

Потом нас гонят на запад.